

С первой минуты знакомства с Николаем Николаевичем Михайловым<sup>2</sup> я поняла, что передо мной человек замечательный – умный, смелый, и при всей простоте поведения и искренности человек чрезвычайно сложный. Он воспринимал мир масштабно и очень чувственно. Даже в преклонном возрасте отправлялся в невероятно сложные экспедиции, требующие сил молодого человека.

Всю жизнь он путешествовал, наблюдая и исследуя, как изменилась страна. Реки представлялись ему венами земли. Лауреатские значки высоких правительственных наград он носил во внутреннем кармашке модного пиджака на случай, если его попросят представиться иностранцам, которые захотят познакомиться с человеком, написавшем знаменитую книгу «Над картой Родины», после чего значки и сам модный пиджак отправлялись в дорожную сумку. Теперь его нельзя было отличить от той толпы молодых людей, которые все как один становились туристами-путешественниками, точно до сих пор их держали в заточении. Такое это было удивительное время.

---

<sup>2</sup> **Михайлов Николай Николаевич** (псевдоним Королёва Кирилла Михайловича (1905–1982) – русский советский прозаик, автор путевых очерков, в том числе об экспедициях на Памир и Тянь-Шань. Лауреат Сталинской премии 3-ей степени за книгу «Над картой родины» (1948), автор книг «Иду по меридиану», «Моя Россия» (гос. премия РСФСР им. М. Горького, автобиографической повести «Чёрствые именины» и др. Итоговой стала книга «Круг земной».

Мы путешествовали вместе с писателем-географом с Вологодчины. Я, журналистка, старалась не показывать свой членский билет: мне нравилась роль свободного наблюдателя. Ник-Ник, так за глаза его звали друзья, заглядывал в самые глухие, медвежьи углы и бурно интересовался современным устройством жизни. Меня удивляли контрасты. А впечатления были грандиозные: чего стояли гигантские, чуть ли не до неба, ёмкости со сжатым газом и нефтяные фонтаны. А совсем неподалёку вообще творились чудеса: горстка учёных-биологов пыталась приручить лосей. Дали попробовать глоток молока лосихи. Вкусно! Но представить, что это может приобрести массовый характер, — было бы слишком.



Н.Н. Михайлов

Николай Николаевич во всё уходил с головой. Путешествие было небезопасным. Ночью мы плыли по узкой реке; оторвавшись от плотов брёвна глухо стукались о днище катерка. Я натягивала на голову шерстяной шарф, сложенный вдвое, чтобы не слышать этих звуков. А Николай Николаевич сидел на носу катера и был почти счастлив, хотя всё могло скверно кончиться, если учесть быстрое течение реки.

Там, где Печора пошире, нам давали судно побольше. А ещё выше по реке выделили пароход начальника порта и вдобавок с провожатыми от общественности. Мы тихонько посмеиваемся над литературными фамилиями, например, как Жилин. Причаливаем к местечку, где люди умоляют нас спеть или прочитать стихи. У них не было ни одного артиста за год, хотя стены домов оклеены вместо обоев театральными афишами. Такой медвежий угол был не единственным, и что кооперации сюда завозят, — скрывалось.

Ник-Ник беседует с разными людьми. Чем ближе к северу, общественных представителей за столом всё больше. Меня дружно уговаривают съесть сырую, присыпанную сверху солью рыбу. Одна из женщин буквально засовывает её мне в рот. Я кидаюсь

к борту, выплюнуть при всех стыдно, а там, за бортом, местный рыбак на утлой лодочке кричит мне приветливо:

– Хошь увидеть могилу Авакума, прыгай. Скорее, – торопит он.

Ни трапа, ни веревочной лестницы не видать. И я, человек не смелый, скорее застенчивый, сгруппировавшись, прыгаю с борта корабля. Но в следующее мгновение в лодке не двое, а трое. Это Ник-Ник прыгает вслед за мной.

– Ах, – доносится до нас с борта корабля.

Все поражены. А мы плывём навстречу судьбе, оставив сограждан испуганными. Видим: в такой же утлой лодочке баба в цветном платке. На буксире огромное бревно. Как оказалось, последнее, что осталось от её дома, и последнее, что было в этих краях.

На могиле Авакума нет ничего, кроме груды камней. И эта суровость и простота близка Михайлову. Мне показалось, что его сильная, могучая натура схожа со старообрядцем Авакумом. Намного позже я узнала, что настоящая фамилия Н.Н. Михайлова-Королёв. Я вспоминаю рассказы Николая Николаевича, как правдолюбец Авакум бросал с храма Василия Блаженного грамотки. Как же его боялись, раз заточили так далеко!

Я срываю несколько колосьев дикой пшеницы и долго свято их берегу, пока у меня их не выпросит человек, который клятвенно пообещает передать колоски дальним родственникам Льва Николаевича Толстого...

Мы возвращаемся на корабль, и нас встречают бурными аплодисментами, никто не надеялся, что мы останемся живы, плывя в утлой лодке.

В ту осень у меня было приподнятое настроение: меня ждало замечательно путешествие по Лене до самого Ледовитого океана. А события развивались не по намеченному плану. Я сижу на вступительных экзаменах во ВГИКе и внезапно покрываюсь алыми пятнами. Меня направляют к врачу.

– Не держали ли вы в руках новорожденного ребёнка? – спрашивают.

– Абитуриенты значительно старше, – шучу я.

– Напрасно смеетесь, у вас разновидность тяжёлой аллергии.

Понаблюдаем несколько недель.

А как же путешествие по Лене до самого Ледовитого океана, о котором я мечтала всё лето?! Даём телеграмму. Отказываемся от комфортабельных кают. Расстроенная, я еду на дачу. А сосед Синельщиков, конструктор летательных аппаратов, заглядывает

ко мне. Он большой чудак и до своей любимой службы добирается пешком, километров этак десять – пятнадцать.

– Что это вы такая пятнистая? Ну да, лесным зверушкам всё равно. У меня как раз свободный день, айда в поход.

Мы шли то берегом речушки, похожей скорее на ручей, то снова углублялись в лес. Первые пять километров я держусь. Но дальше начинаю спотыкаться. И вдруг наступаю на что-то мягкое и падаю. Боже мой, это улей диких пчел! Небо показалось мне красным. От укусов вспухла кожа. Слёзы брызнули из глаз.

– Да остановитесь же, – кричу я.

– Подумаешь, покусали пчёлки, какие нежности, – не оборачиваясь, бросает мне Синельников.

Я выбиваюсь из сил. Наконец, сжалившись, он напоил меня чаем, вскипевшим на костре. Ничего вкуснее я не пила. К ночи мы добрались до дома. Рано утром мчусь ко врачу.

– Да-а, – неопределённо тянет врач. – Приходите через неделю, будем думать.

На следующее утро я подошла к зеркалу и ахнула – никаких пятен, я абсолютно здорова. Вот что сделали пчёлы. А пароход плыл к Ледовитому океану без Ник-Ника и без меня.

Через много лет мне позвонила Верочка Синельщикова, дочь того конструктора летательных аппаратов: «Папа потерял подвижность, но до самого конца не выпускал из рук вашей книжки “Охота на диких пчёл”. У него было полное ощущение, что он идёт с вами по тому самому лесному маршруту, где вас покусали пчёлы». Ни одна из моих последующих книг не могла похвастаться такой прямой и непосредственной пользой.

Ник-Ник писал мне тогда утешительные письма из Дома творчества Малеевка. Теперь он не путешественник, а страстный читатель. Его интересовала мировая поэзия. Я упомянула, что не могу купить хороших книг о великих поэтах.

– Пустяки, – говорит он.

И по почте ко мне стали приходиться крошечные самодельные книжечки. Текст стихов и комментарии, написанные им и напечатанные на машинке. Сотня самодельных книжечек. Собралась целая энциклопедия мировой поэзии. Дочка так и не поняла, что помогло ей стать переводчиком...

Он внимательно следил за современной прозой. Его суждения о Шукшине и Распутине выдержали время. Он писал задиристо, весело, тонко и очень глубоко. Он первый сравнил Распутина с Сервантесом. И как точно сказано о величии русской литературы-

ры. И сегодня его письма поражают меня тонкостью и свободой. И как же много может успеть в жизни человек, если не теряет ни одного мгновенья, не тратится на пустое. Николай Николаевич Михайлов гармонично соединил в себе культуру поколения крупных учёных прошлого и современных ему задиристых молодых людей.

Была любовь, счастливые годы, известность, десятки книги, которые он добывал из путешествий. Но всё разом рухнуло. Угроза слепоты, потеря любимого человека... Но бесконечно трудная жизнь не сломила.

Его письма – это исповедь и поэма. Они продолжение книг и новые страницы в его творческом развитии. Трагизм существования в постоянной боли и великая любовь к самой стихии жизни. Любовь к красоте и величию природы, уважение к человеческому разуму, точности и красоте пушкинского слова, нежная благодарная любовь к жизни, убеждающая и торжественная, как гимн, – я жил! Я больше не встречала человека с таким нравственным чувством, как Ник-Ник. Вот почему я не могу сказать, я вспоминаю, я помню его всегда. Из нашей большой переписки я предлагаю два письма, касающиеся его отношения к современной русской литературе.

2 февраля 1978

*Дорогая А.Р., единственный на свете человек, которому я могу сказать при надобности всё, всё. Да и что нового могу сказать: ей все обо мне известно – информацией моей и интуицией своей. Я разумею: пониманка куплена, оплачена собственным страданием.*

*В моей циклотимии, сильно обострившейся за последние два года, сейчас сравнительно светлый цикл, чувствую себя хорошо, если не умственно, то физически и психологически. Но это готовность не только “к новым испытаниям”, которые стоят и ждут у ворот (Саша, последняя надежда, хиреет), а и перед очередным циклом упадка, который по всем законам начнётся в Москве, на моём продавленном диване и в глазном институте Гельмгольца, куда я боюсь идти уже давно, но больше тянуть уже нельзя. Ничем не помогут, потери зрения не предотвратят, но не постесняются сказать всё, как есть, и сколько мне осталось. К счастью, иногда ошибаются, не только в плохую сторону. Что-то на сетчатке произошло этим летом коренное, отчасти, наверное, от чтения (а ля обновления) двух томов*

“Моей России”: это есть справедливая расплата за грех её переиздания. Ещё придётся повозиться. Одна причина срыва сетчатки – мелкий шрифт книги (машинописный, более лёгкий для меня, рукописи не сохранились), второй источник боли: необходимость вставить цитаты, без них сейчас не пойдёт.

Когда через какое-то время не попадаешь в прежнее место, особенно ясно замечаешь перемены в своём состоянии: за год, что не был в Малеевке, перед глазами возник посторонний малопроницаемый туман, а тут ещё экономия энергетических ресурсов: то есть в тёмных коридорах вывинчены лампочки, не различаю лиц! Дилемма, что хуже: если не поздороваяешься, сочтут хамом, если поздороваяешься пять раз на дню, сочтут идиотом... Цепляюсь за Вадима, он меня водит – и это не фигуральное выражение, а прискорбный факт. А уж час – полтора на лыжах в любой мороз и в любую морозную мглу – это каждое утро у нас -20 С с ветром – не побоюсь сказать – это совсем отчаянный поступок смелости, ни одного дня не пропустил, пока ещё в абсолютном серо-молочном море ни разу не упал, костей не поломал, но напряжены все фибры – и мускулы все до единого, и воля, и чувство... Хоть Марина не видит, не думает (как в Москве): “что мой скорый завтрашний день”. 6-го уедет Вадим, приезжает на смену до конца таскать меня Саша, до 19-го февраля.

При всём том жизнь ещё бьется. Вернулся на днях из леса, Вадим, как лоцман, довёл до дверей, я снял лесную амуницию, включил приёмник – слышу, кто-то чудно играет прилюдно Рахманинова – и во мне вдруг всё встрепенулось. Под звуки рояля слеза последней, предпоследней радости жизни, прощальная слеза, лаская телесным теплом, побежала по морщинам старой, усталой щеки: я вспомнил, сразу ясно увидел то, что видел полчаса назад, когда, остановившись в лесу на просёлке, взглянул вверх, а там – сквозь глазной туман – нежно-лазоревое стекло неба, и на нём ветви деревьев, обросшие белым инеем. Вспомнил чувство восторга, когда на Яшином катере стучались в плывущие бревна...

Всё о себе да о себе, хватит. Теперь о другом...

10 февраля 1997

Я всё-таки немного читаю. Начал двухтомник Шукшина, чтобы наверстать отставание. Только начал – и зарекаюсь от преждевременного заключения, но уже чувствую, что при всём своём изумительном таланте не вытянет он перед другим,

которого за прошедшие тут три недели, тоже впервые, прочитал: не хватает глубины. Впрочем, может быть, и хватило бы, не знаю пока. Когда вокруг толковали о том, что Валентин Распутин самый замечательный ныне писатель, я, конечно, не верил. Слыхали мы эдакое! А вот прочитал, узнал: да! это нечто необычайное и подлинное – настоящее, я имею в виду прежде всего “Прощание с Матёрой”. Настолько уже непререкаемое, что (да и время пришло теперь другое, не перешибёшь его силой) пришлось дать Госпремию хоть и не “Матёре”, то хотя бы “Живи и помни”, а ведь это тоже не соцреализм, а добрый старый гуманизм (не по манере, конечно, а по нравственному смыслу оправдания человечности, гуманизм Сервантеса, Тургенева, Гаршина, Короленко, Достоевского – не знаю кого, но в том ряду). Лескова? Виктора Гюго?

“Матёра” – это поразительно: паренёк из таёжной сибирской деревни на фоне отличной локальной языковой фактуры смело упёрся в мировую загадку: какая связь между жизнью и смертью? Зачем мы живём? Одно посещение старухой Дарьей затопленного кладбища чего стоит! В меня так и врезалось: «Это я, тятка. Я это, мамка.»

Бог дал ему силу души пронзить. И при этом форма не упущена: “это я”, “я это”.

Откуда у молодого человека такое понимание смерти? Тема смерти? Весь остров лишь символ... Я читал Шопенгауэра и Марка Аврелия, а он-то не читал. Кто дал ему такую силу? Куда мы годимся...

Забыл я, кто сказал, когда умер Некрасов: “Это был последний русский писатель из бар”. Писателя не из бар, а из народа, снизу, пришлось ждать сто лет. Происхождение Горького под сомнением, Шолохов, кажется, всё-таки из казацкой верхушки (не Шолохов вообще, а “Тихий Дон”, – это не одно и то же). И вот “Я это, мамка” из деревни на далекой реке Ангаре. Но – удержится ли? Вернее – разовьётся ли? Опять нам придётся сто лет ждать. Россия сейчас не деревенская, а городская страна, и, войдя в ряд Сервантеса и прочих великих, он может оказаться карликом. Какая опасность! Сумеет ли выйти из деревенского “чё” на общегражданскую, всеобщую, городскую, сегодняшнюю, европейскую площадку? Большая опасность, что не осилит выйти: талант велик, наследство маловато. Другие в таких случаях трагического несоответствия спивались. Когда-то он тут в Малеевке был, все его хвалят. Молчаливый был. Как мне

подавальщицы сказали: "Со столичными не возжался". Ой, боюсь. Глубины хватило, высоты и широты может не хватить.

Страшно, но скажу: недаром, недаром Шукшин умер. В этом своя, зловещая логика. Белов-то, кажется, дальше не пошёл, как в своё время не пошёл, скажем, Дрожжин, а в наши дни – Есенин.

Боюсь, не вывезет таёжная река Ангара (потому и ГЭС на ней – гибель). Хватит ли сил выплыть по Ангаре в океан – море? Дай-то бог! Хочу ему добра.

Но, отвлекаясь от мыслей о дальнейшей судьбе Распутина, скажу важное для меня: читая его, я всё время думал о моём близком друге. Когда вдумывался в концепцию Распутина (для ангарской деревни слово неподходящее, но тут точное), думал всё время: ведь это её концепция. Десять лет наблюдаю. Не раз мне, испорченному рефлексией, за непонимание этой глубокой, великой концепции жизни легонько попало. Идёт она, пожалуй, из самых недр, от времени Ярила и Дажьд-бога. В наше время редкое исключение, потому что не избавиться от: "Кесарю Кесарево, а богу божье".

Какое понимание силы судьбы! Какое чувство сверхчувственной преемственности в существовании рода человеческого! "Земля есть и в землю отыдеш".

Какая вера!

Из таких женщин в древнюю христианскую эпоху выходили святые – их канонизировали и перед именем ставили "великомученица" или просто "святая".

А кесарю – своё, в виде членских взносов.

Сейчас 5 часов утра. Почти всю ночь не сплю. В окно смотрит ужасная жёлтая, совершенно круглая луна – может быть, поэтому...



Н.Н. Михайлов и А.Р. Романенко



Боюсь за кино “Матёра”. Как снять Хозяина, чтобы не вырезали? А без него нельзя. В Малеевке говорил о “Матёре” с очень умным, критичным писателем. Дурак – ничего не понял – сказал: “Матёра”? Вся построена на языке, вот и всё”. Дурак. Очень боюсь – как снимать?

Мне было сказано: “Мужества Вам не занимать”. Увы, занимать... В одном лишь не нужно: Шукшина, не читая, презирал. Теперь понял! Это русский бунт. От Стёпки до генерала Малофейкина. Сдаюсь мужественно.

Разница: Шукшин – это русское “время”. Серьёзная, но минутная стрелка. У Распутина стрелка часовая. Даже, может быть, бóльшая. Боюсь – не снять вам “Матёру”.

Постараюсь уснуть. Шестой час, луна зашла за крышу дома...

Москва